



ЦИКЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК
СЕРГЕЯ ЖУРИХИНА
- ВТОРОЙ СЛЕД -

СПИСОК ОТРЕЧЕНИЯ

- КНИГА ПЕРВАЯ -

МОСКВА 2026

Сергей Журихин
Список отречения

«Автор»

2026

Журихин С.

Список отречения / С. Журихин — «Автор», 2026

«Второй след» — цикл исторических заметок, в котором вымысел осторожно встроен в подлинную историю России. На его страницах действуют Софья Алексеевна и Пётр I, Кутузов и Александр II, Николай II, Александра Фёдоровна, Алексеев, Родзянко, Гучков, Шульгин, маршалы и генералы Великой Отечественной; звучат реальные даты, сводки, телеграммы, войны, реформы, бунты и государственные переломы. Первая книга, «Второй след. Список отречения», переносит читателя в последние месяцы Российской империи. Пока в Петрограде растут очереди, забастовки и раздражение гарнизона, а массовые выступления февраля 1917 года ведут к падению монархии, в Пскове готовится акт, который изменит ход русской истории: 2 марта Николай II подписывает отречение от престола. Между реальными событиями проходит невидимая линия - "Служба второго следа", хранящая то, что позднее исчезает из официальных версий. Её задача не переписать историю, а тихо сохранить подлинный смысл её ключевых решений.

© Журихин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Город, который ещё верил в себя	5
Глава 2	9
Хлеб и снег	9
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Сергей Журихин

Список отречения

Глава 1

Город, который ещё верил в себя

Петроград умел обманывать глаз.

Если смотреть с Невского в ясный морозный день, легко было решить, что империи ничего не угрожает. Экипажи катили вдоль тротуаров. Трамваи звенели с прежним раздражением. В витринах лежали мыло, шляпы, перчатки, швейцарские часы — уже не в прежнем изобилии, но с таким видом, будто всё это никогда отсюда не денется.

Павел Дмитриевич Лыков вышел из подъезда на Гороховой, постоял секунду на крыльце и только потом шагнул на тротуар. Холод цеплялся не за пальто, а за кости. Сырой ветер с Мойки лез под шинель, щипал в горле. Небо висело низко и ровно, без просвета.

По мостовой шли люди: чиновники, дамы, юнкера, рабочие, две сестры милосердия, офицер с пустым правым рукавом. Все спешили. И почти у каждого было то выражение лица, которое Лыков за последние месяцы возненавидел: раздражённое ожидание, словно страна задолжала каждому по отдельности — хлеба, мира, немедленно и полностью.

У газетного киоска спорили.

— Да что вы мне будете рассказывать, — сердился плотный человек в дорогом, но уже потёртом пальто. Пахло от него табаком и хорошей шерстью. — Россия богатеет. За двадцать лет заводов понастроили — не перечсть. Железных дорог сколько. Донбасс работает. Баку даёт. А вы всё: «гибель, гибель».

Напротив стоял худой, нерешительно одетый человек с утомлённым лицом, прижимая к груди свёрток с газетами.

— Богатеет, — сказал он негромко, — а хлеба в столице недостаёт. А на фронте сапог не хватает. А министры один другого жрут, как голодные собаки.

— Вам бы только хаять. Россия большая. Её так просто не возьмёшь.

Спор был не первым за эти месяцы. Петроград привык обсуждать свою судьбу у киосков так, как раньше обсуждал театр.

Чуть дальше по улице очереди ещё не стояли — только намёки на них: у одной булочной толпилось человек десять, у другой всего трое, но по тому, как они держались за места, было ясно: стоят с раннего утра.

У первой лавки женщина в тёмном платке говорила с приказчиком.

— Вчера сказали: «К утру будет». Я с пяти стою.

— Вы с пяти, а мука — с октября. Как пришла, так и ушла. Я вам из воздуха печь не буду. Из хвоста очереди вмешался пожилой рабочий — не громко, почти себе под нос:

— Хлеб, выходит, для избранных.

Слово «избранные» в этом дворовом разговоре прозвучало несправно, как чужой предмет. Оно принадлежало думским речам и газетным статьям. Теперь оказалось на мостовой.

У следующей лавки мальчишка лет двенадцати тёр ладонью стёклышко, пытаясь заглянуть внутрь. Там было темно. На двери висела бумага: «Хлеба нет. Подвоз задержан». Под словами торопливо приписали: «Слухов не слушать».

— А если слухи честнее бумаги? — вполголоса сказал кто-то сзади.

Лыков услышал эту фразу отчётливее, чем все доводы у киоска.

По другую сторону улицы городской топтался на месте, делая вид, что согревается. На самом деле он считал людей — не глазами, привычкой. При виде Лыкова чуть напрягся.

— Что, опять «ничего особенного»? — негромко спросил Лыков, остановившись на полшага.

— Ничего такого, чего бы не было, — ответил тот, дёрнув щекой. — Только раньше так не было.

Лыков кивнул и пошёл дальше.

Справки, которые он читал по службе, говорили одно: промышленное производство выросло, города расширились, уголь, железо, нефть — всё за четверть века взлетело так, как раньше не мечталось. Страна не была нищей. Не была пустой.

И в то же время любая папка последних двух лет, открытая наугад, пахла уже не ростом, а надсадой: перебои с продовольственными грузами, изношенный подвижной состав, нехватка топлива, министры, которые менялись чаще расписаний поездов.

Россия, думал он, не валится от слабости. Валится — когда свою силу уже не умеет собрать. Он возвращался к этой мысли третий или четвёртый раз за утро и всякий раз откладывал её, как бумагу, которую неприятно читать до конца.

Никому не говорил. Ни на службе, ни дома. Дом у него был на Сергиевской. Отец, когда-то служивший в казённой палате, умер до войны, оставив Павлу Дмитриевичу две вещи: аккуратно переписанный «Домострой» и исписанные поля в служебных книгах. На полях выводил: «Сие — ради службы. Сие — ради Отечества. Сие — не смешивать».

Лыков не то чтобы понял это однажды. Просто в какой-то день стало ясно, что понимает — и давно.

Служба у него значилась при одном из департаментов Министерства внутренних дел. Это была удобная вывеска. Под ней начиналась та часть здания, в которой обычная канцелярия кончалась, а дальше шла работа, о которой не говорили вслух даже внутри самого министерства. Там интересовались не тем, что случилось, а почему о случившемся написали именно так.

У подъезда ведомства его догнал курьер.

— Павел Дмитриевич!

Лыков обернулся.

Курьер был свой, внутренний: молодой, бесцветный, с аккуратными усами и лицом, которое через минуту невозможно вспомнить. Хорош тем, что никогда никуда не принадлежал — кроме службы.

— Сергей Михайлович просит вас немедленно.

— Сейчас?

— Немедленно. И с журналом по столичным сводкам.

На лестнице пахло воском и бумагой. Чем выше Лыков поднимался, тем меньше становилось шума: за спиной оставались голоса чиновников, шорох бумаг, запах мокрых шинелей. На третьем этаже всё это отсекалось. Дальше жили люди, для которых страна делилась на два вида текстов: те, что пишут честно, и те, что пишут для начальства.

В коридоре было тихо. Икона в углу, лампа под зелёным абажуром, две двери с табличками и ещё одна — без всякой надписи. Лыков постучал в последнюю.

— Войдите.

Кабинет Арсеньева был невелик. Высокие шкафы до потолка, зелёное сукно на столе, в углу тёмная икона с лампадкой. Окно выходило во двор-колодец, где на серый снег лениво падали редкие хлопья.

Арсеньев сидел прямо, не откинувшись на спинку кресла. Лыков прикидывал его возраст примерно в шестьдесят: таких людей сушит не календарь. Лицо у него было сухое, чистое, внимательное.

— Садитесь, Павел Дмитриевич.

Лыков сел, положил на стол толстый журнал со сводками. На краю стола лежала распечатанная бумага.

— Вы смотрели сегодняшние донесения по столице?

— Смотрел.

— И что скажете?

Лыков помолчал, развернул журнал.

— Внешне ничего чрезвычайного. Разговоры больше, чем движение. Недовольство продовольствием. Нервозность в рабочих кварталах. — Он чуть пожал плечами. — Обычный столичный яд.

— Обычный? — мягко переспросил Арсеньев.

— Не обычный. Но и не прямой взрыв. Пока.

Арсеньев положил пальцы на край листа.

— Мне не нравится не то, что там написано. Мне не нравится, чего там нет.

Лыков протянул руку. Арсеньев подвинул сводку.

Донесение было составлено безупречно: беспорядки у булочных, отдельные задержания, слухи о том, что муку вывозят «куда-то ещё», «несдержанные высказывания» в трамваях, тревожные настроения среди солдат запасных батальонов. Всё как положено.

Не было только одного.

Лыков дочитал до конца, вернулся к середине, снова пробежал глазами.

— Нет оценки лояльности гарнизона, — тихо сказал он.

— Именно.

— Она должна быть первой строкой.

— При таком наборе признаков — обязана. — Арсеньев откинулся назад, сцепил руки.

— И это уже шестая такая сводка за три недели. Везде есть хлеб, цены, озлобление, слухи, «настроения дамского общества». Нет только ответа на главный вопрос: кто и сколько у нас останется верен приказу стрелять.

Лыков положил лист на стол.

— Думаете, убрали?

— Пока думаю, что обходят. По страху. Или по расчёту.

Лампа тихо потрескивала. За окном во двор-колодец падал грязноватый снег.

— Вы знаете, — сказал Арсеньев, — как чаще всего гибнет государство?

— От войн? — машинально ответил Лыков. — От долгов? От заговоров?

— Это всё причины видимые. Но до них нужно ещё дожить. — Он посмотрел прямо.

— Государство чаще всего гибнет оттого, что слишком многие заранее решили не называть главное своим именем.

Сделал паузу.

— Возьмёте это дело.

— В каком объёме?

— Полный столичный контур. Гарнизон. Продовольственные линии. Думские сигналы. Внутренние сводки по министерствам. И всё по путям связи со Ставкой. Лыков понял: ему предлагают вход в те слои жизни государства, где видно, как оно думает.

— Это уже не про хлеб, — тихо сказал он.

— Нет. Это, возможно, начало перемены верховной воли.

Слова легли просто, без пафоса. От этого стало холоднее.

«Перемена верховной воли» в их кругу означала особое состояние: ещё нет переворота, ещё не сменился герб, но страна внутренне перестала быть той, чем значилась на бумаге.

Арсеньев выдвинул нижний ящик стола, достал маленький ключ и положил на сукно.

— Возьмёте ячейку в нижнем ряду. Там материалы по девятьсот пятому, по московским беспорядкам и два закрытых дела по гарнизонам. Сравните структуру. Умолчания похожи на почерки: у каждого своя манера.

— Когда нужен первый доклад?

— Завтра к вечеру.

— Это мало.

— Значит, придётся успеть, — сухо сказал Арсеньев.

Лыков взял ключ и сводки. Уже у двери услышал:

— Павел Дмитриевич.

Он остановился.

— Вы человек умный. Это иногда мешает.

Арсеньев говорил спокойно, без нажима, как человек, привыкший больше молчать, чем учить.

— Помните одну простую вещь. Любовь к Отечеству начинается не с того, чтобы говорить о нём хорошо. Она начинается с того, чтобы в решающий час не позволить ему врать самому себе.

Лыков хотел что-то ответить, но не нашёл слов, которые не прозвучали бы напыщенно. Просто кивнул.

Дверь закрылась мягко, почти неслышно.

На лестнице он остановился у окна. Во дворе падал снег, и дворник, маленький, согнутый, лениво сгребал его к решётке. Что-то было не на месте во всей этой картине — как цифра, неправильно вписанная в отчёт, которую не сразу замечаешь, но потом уже не можешь разглядеть ничего другого.

Лыков постоял ещё секунду, потом пошёл вниз за папками.

Глава 2

Хлеб и снег

С утра город был белёсый, как плохо выстиранное полотно.

Снег не шёл — висел в воздухе, мелкий, колючий, почти неподвижный, и оттого казалось, будто весь Петроград стоит внутри мутного стеклянного шара, который кто-то взял да и встряхнул не до конца. Лыков вышел на Гороховую рано, ещё до того часа, когда чиновный люд окончательно овладевает улицей, и велел извозчику ехать не к министерствам, а на Выборгскую сторону.

Извозчик, старик с сизой бородой и запавшими глазами, обернулся через плечо.

— На ту сторону? С утра-то?

— На ту, — сказал Лыков.

— Там нынче злые.

— Где теперь добрые?

Старик хмыкнул и тронул.

Лошадиный пар шёл вбок, под ветер. Колёса, подбитые грязным снегом, хрустели на мостовой. По набережной тянулись люди: женщины в платках, солдаты, мальчишки с корзинами, один морской офицер с таким лицом, будто не спал трое суток и уже не надеялся выспаться когда-нибудь ещё. У булочной на углу стояли первые шесть или семь человек — рано, слишком рано для приличного города и уже вполне обычно для умирающего порядка.

Петроград ещё умел делать вид, что живёт как прежде.

У лавок висели вывески. На Невском по-прежнему спорили о театре и министерстве. В газетах всё ещё находилось место для заграничных хроник, благотворительных вечеров и театральных скандалов. Но стоило свернуть с больших улиц, и город начинал говорить другим голосом — не громким, не бунтовским пока, а раздражённо-утомлённым, как человек, которого долго будили по ночам и теперь удивляются, что он отвечает зло.

На Литейном они встали из-за двух подвод с мукой. Возчики ругались с городовым; тот кричал больше для порядка, чем по убеждению. Лыков не вмешался. Он смотрел не на слова, а на лица. У городского было лицо человека, который сам не уверен, кому именно тут служит: закону, начальству или только до вечера.

— Видали? — обернулся к нему извозчик. — Теперь каждая подвода как князь. Полгорода на неё молится.

Лыков ничего не ответил.

С конца прошлого года он слишком часто видел в бумагах слова “мука”, “подвоз”, “задержка”, “железнодорожный сбой”, “разлад между ведомствами”. В одних справках утверждали, что настоящего голода в столице нет, есть только неумелое распределение и паника покупателей.

В других — что Петроград держится уже не на порядке, а на остатках запаса и терпения. По одной сводке на столицу ежедневно требовались сотни вагонов продовольствия, а приходило в разы меньше; с января по февраль запасы муки быстро таяли. Бумага ещё спорила сама с собой, а улица уже решила, кому верить.

На Выборгской стороне снег был грязнее, люди — теснее, и весь воздух казался тяжелее. Здесь пахло углём, мокрой шерстью, дешёвым табаком, квашеной капустой, железом и тем особым городским голодом, который начинается не в животе, а в разговоре.

Лыков отпустил извозчика у переулка и пошёл пешком.

Очередь тянулась вдоль булочной чёрной верёвкой — платки, армяки, шинели, серые солдатские папахи, детские башмаки, примёрзшие к снегу. Люди не шумели. Шум — признак избытка сил. Здесь сил хватало только на короткие реплики и недоверие.

У двери лавки спорили две женщины.

— Вчера сказали — к утру будет, — говорила одна, молодая, но уже с тем усталым лицом, какое у петроградских работниц появляется к тридцати, а то и к двадцати пяти.

— Я с пяти стою.

— Ты с пяти, а я с четырёх, — отозвалась старуха, не злобно, а просто как о факте.

— Нам кто зачтёт?

— Никто, — сказал кто-то из хвоста. — У нас теперь только Господь считает.

Несколько человек усмехнулись. Не весело, а потому, что смех ещё оставался самым дешёвым способом не начать ругаться всерьёз.

Лыков остановился у соседнего подъезда, будто поправляя перчатку. Смотреть прямо в очередь не следовало: очередь мгновенно чувствует служивого человека, даже переодетого в скромное пальто.

Он давно заметил одну вещь: власть в России может ошибаться сколько угодно, но толпа всегда безошибочно узнаёт того, кто пришёл не стоять, а смотреть.

Из булочной вышел приказчик, молодой, с красными ушами и пухлыми губами. Он вытер руки о фартук и крикнул:

— По два фунта в руки! Больше не давать! И не напирать, граждане!

Слово “граждане” прозвучало случайно, по городской привычке, но несколько человек сразу повернули головы. Пока ещё никто не сделал из этого вывода. Пока ещё.

— Сам ты гражданин, — пробормотал пожилой рабочий в замасленной шапке. — До чего дожили.

— А до чего? — отозвался другой. — До того и дожили, что хлеб по счёту, а в газетах победы.

Лыков медленно пошёл вдоль очереди.

В середине стояли две солдатки — одна с мальчиком лет семи, другая беременная, с жёлтым, почти прозрачным лицом. Мальчик кашлял в кулак и глядел на дверь булочной так, как дети смотрят на чудо: с непоколебимой уверенностью, что если ждать достаточно долго, ему всё же откроют.

Солдатки говорили вполголоса.

— Мой из-под Двинска пишет, — сказала беременная. — У них, говорит, каша — вода. А я ему чего пошлю? Сухарь? Так и сухаря не напасёшься.

— Ты ещё мужу пошлешь, — отозвалась первая. — А мой молчит третий месяц. Может, убили. Может, почта врёт. Теперь всё врёт.

Последняя фраза ударила Лыкова точнее, чем могла бы ударить любая политическая речь.

Теперь всё врёт.

Он двинулся дальше.

У самого конца очереди, почти на мостовой, стояли трое солдат запасного батальона. Шинели на них сидели плохо, как на людях, которых не столько одели, сколько записали в имущество. Один был очень молод — с мягкой верхней губой и глазами деревенского подростка. Второй, постарше, держался с нарочитой ленцой, как человек, давно усвоивший, что в армии главное — не служить, а уцелеть. Третий молчал и курил.

Лыков притормозил возле газетной тумбы.

— В казарме опять хлеб задержали, — сказал молодой. — Наши с утра как собаки.

— Наши? — фыркнул ленивый. — Наши давно не собаки. Наши уже люди. Только начальство всё не замечает.

— Тише ты, — сказал курящий.

— А чего тише? — ленивый оглянулся. — Тут все свои. Не на плацу.

Молодой переступил с ноги на ногу.

— Мне ефрейтор вчера сказал: если выйдут бабы и рабочие, нас погонят разгонять.

— Ну и что? — лениво спросил второй.

— А то. Стрелять, что ли?

Курящий бросил окурок в снег и затоптал каблуком.

— Кто в бабу выстрелит, того потом и свои не пожалеют.

Они замолчали. Но главное уже было сказано.

У двери булочной что-то изменилось — не в словах, в воздухе. До сих пор очередь стояла как мокрый канат: тяжёлый, но инертный. Теперь канат дёрнули.

Приказчик снова вышел на порог — тот самый, с красными ушами и пухлыми губами. В руках у него был ящик, на лице — то утомлённое

раздражение человека, который сам не понимает, как оказался виноват перед полусотней взрослых людей только потому, что держит ключ от пустой лавки.

— Сказано же было, — крикнул он. — Нет больше. Разойдитесь по-хорошему. Может, к вечеру чего подкинут.

В очереди кто-то хмыкнул.

— К вечеру мы сами кого-нибудь подкинем, — громко сказала та самая молодая работница, что спорила у двери.

— Только не муку.

Смех прошёл по хвосту — короткий, злой, как выдох. Кто-то двинулся вперёд. Снег под сапогами захрустел иначе — не по одному, а разом.

Приказчик отступил на полшага, машинально прижимая к себе ящик, как щит. Он не был ни храбрецом, ни трусом — просто человеком, который в суете забыл, что перед ним не отдельные покупатели, а уже толпа.

— Не напирать! — выкрикнул он тем же голосом, каким минуту назад звал «граждан».

— Я сказал: разойдитесь!

— А мы сказали — не разойдёмся, — ответила из середины солдатка с прозрачным, жёлтым лицом.

— Пока ты нам не скажешь, где наш хлеб.

Она не кричала. Оттого её голос прозвучал особенным ударом. Люди вокруг чуть подались к ней — не телом, слухом.

Кто-то сзади толкнул плечом. Солдат с мягкой верхней губой, который только что слушал разговор о казарме, сделал невольный шаг вперёд, чтобы не наступили на ноги. Ружьё на его плече качнулось, стукнулось прикладом о край дверного косяка. Звук был пустяковый, но очередь вздрогнула так, будто это выстрел.

— Оружие убери! — резко выкрикнул кто-то из глубины, и в этом «убери» было столько прежнего страха, что Лыков почти почувствовал, как старые воспоминания о расстрелах проходят по людям мурашками.

Солдат смутился, хотел отойти назад, но его уже прижали. Второй, ленивый, вскинул подбородок, огляделся:

— Тише вы, — сказал он не своим, а всей очереди. — Не он вас сюда привёл и не он вас отсюда разгонит.

— А кто? — спросила старуха у двери. — Опять «там наверху»? Они нас только на бумаге видят.

Слово «бумага» зацепилось в голове Лыкова так же, как вчера ночью — фраза «теперь всё врёт». Очередь говорила его языком, только грубее и честнее.

Соблазн вмешаться был странным: не служебным, человеческим. Он ясно видел, как четыре-пять неверных слов сейчас могут превратить этот мокрый канат в что-то совсем другое — в кнут, который ударит по городу.

Он сделал шаг вперёд, так, чтобы его всё ещё можно было принять за случайного горожанина, и повернулся лицом к тем трём солдатам.

— Эй, ребята, — негромко сказал он. — Вам в казарму ещё сегодня возвращаться. Не хватало, чтобы вы там объяснялись, почему здесь кому-то череп проломили.

Молодой солдат посмотрел на него с тем доверчивым упрямством, с каким деревенские подростки смотрят на любого, кто говорит уверенно.

— А мы и не проломим, — сказал он. — Нам за это не платят.

— Вот и хорошо, — кивнул Лыков. — Тогда сделайте шаг в сторону. Дайте бабам сами с приказчиком договориться. У вас своя очередь — в казарме. У них — здесь. Не надо путать.

Он говорил безо всякого начальственного нажима, как человек, который привык убеждать цифры, а теперь пробует тот же приём на людях.

Курящий солдат бросил второй окурок рядом с первым, посмотрел на товарищей:

— Пошли, — сказал он. — Всё равно без нас хлеба не прибавится.

Они нехотя отлипли от хвоста и отошли к газетной тумбе. Толпа чуть расслабилась — как верёвка, которой ослабили узел. У двери опять послышались обычные очередные слова: «по двое», «не лезь», «я раньше».

Опасность не исчезла — просто ушла на полшага вглубь.

Лыков отошёл, не оборачиваясь. Он понимал, что сделал сейчас не так уж много: всего лишь убрал из этой очереди три шинели с ружьями. Но по опыту архивных дел он знал: иногда одной строчки, вычеркнутой из доклада, бывает достаточно, чтобы через год в столице не оказалось полка. Здесь он вычеркнул одну возможную строчку из завтрашних сводок. И для него лично это было важнее, чем ещё одна аккуратная формулировка на бумаге.

Он не любил быстрых выводов и тем более не доверял словам, сказанным на холоде людьми, которым просто хочется казаться смелее, чем они есть. Но Арсеньев был прав: в столичных сводках отсутствовало именно то, что улица уже произносила вслух без всякой бумажной осторожности. Вопрос стоял не о хлебе. Хлеб был только языком, на котором город начинал говорить о власти. Настоящий вопрос был проще и страшнее: кого гарнизон считает своими — тех, кто в очереди, или тех, кто отдаст приказ.

Он свернул в проходной двор, чтобы выйти к казармам окружным путём.

Снег под ногами давно перестал быть белым; здесь он был сизый, утопанный, с примесью золы и угольной пыли. В подворотне пахло кошками и керосином. Из окна первого этажа доносился кашель, из другого — надрывная граммофонная пластинка, играющая какой-то романс с тем бесстыдным усердием, какое свойственно дешёвым чудесам техники.

У ворот казармы дежурил унтер с воспалёнными глазами.

— К кому? — спросил он без особого рвения.

Лыков показал записку и внутренний жетон, не тот, который открывал все двери, а тот, который позволял сделать вид, будто ты всего лишь один из бесчисленных проверяющих.

Унтер мельком взглянул и вернул.

— Проходите. Только у нас бардака нет, если что.

— А я и не за бардаком, — сказал Лыков.

— Все так говорят.

Во дворе казармы солдаты чистили снег, таскали ящики и курили там, где курить не полагось. Всё выглядело почти благопристойно. Всегда есть такой час перед бурей, когда порядок вдруг начинает казаться особенно убедительным — просто потому, что стоит на последнем усилии.

Лыкова ждал поручик Берсенеv, знакомый ещё по давнему делу о снабжении. Человек был из тех армейцев, которые не любят ни фронтовой романтики, ни столичного ума, но при этом служат честно, потому что никакой другой формы житья себе не представляют.

— Рад бы сказать, что к нам вы напрасно, — проговорил он вместо приветствия. — Да не скажу.

Они прошли в канцелярию. Там было жарко натоплено и пахло мокрым сукном, табаком и капустой. На столе лежали книги довольствия, списки увольнений, рапорты о самовольных отлучках и пачка бумаг, перевязанных синим шнурком.

— Смотрите, — сказал Берсенеv без предисловий. — По бумагам всё в порядке. Хлеб отпущен. Крупа отпущена. Жалованье выдано. Заболевших в пределах. В увольнениях умеренно. Нарушений дисциплины — терпимо.

— А по людям?

Поручик посмотрел на него устало.

— По людям — хуже бумаги.

Он подвинул табурет.

— Они не бунтуют, Павел Дмитриевич. Пока. Они просто больше не хотят, чтобы им лгали. А армия этого не прощает хуже, чем голода.

— В чём ложь?

Берсенеv криво усмехнулся.

— Вы как будто не знаете. В газетах победы, в разговорах порядок, а у солдата брат в деревне пишет, что сахар только по праздникам, жена стоит за хлебом с ночи, а в городе говорят, будто паника от дурных баб. Вот и вся ложь.

Он помолчал и добавил, уже тише:

— Самое плохое даже не это. Самое плохое, что офицеры начали бояться не немца, а собственного батальона.

Лыков поднял голову.

— Настолько?

— Не у всех. Но достаточно. А если офицер в строю хоть раз подумал: “Послушают ли?” — порядок уже надтреснул.

Снаружи кто-то крикнул, лязгнула лопата, хлопнула дверь.

Лыков открыл первую книгу, вторую, наугад взял рапорт. Всё было в порядке. Слишком в порядке. Та канцелярская чистота, за которой всегда чувствуется рука человека, заранее решившего не вносить в документ ничего такого, что может понадобиться потом на следствии.

— У вас были разговоры о беспорядках в городе? — спросил он.

— У кого не были?

— Я не о разговорах. Я о настроении после разговоров.

Берсенеv помедлил, подошёл к окну и посмотрел во двор, где солдаты волокли санки с дровами.

— Настроение такое, будто всех держат за дураков, — сказал он. — А человек многое стерпит, пока считает себя бедным. Но когда начинает считать себя дураком — тогда жди беды.

Это была хорошая фраза. Лыков почти сразу её запомнил.

Он перевязал книги обратно.

— Мне нужен список унтеров, на которых можно опереться, и тех, кто говорит громче прочих.

— Это уже не обычная проверка, — заметил Берсенеv.

— Уже нет.

Поручик кивнул, будто ждал именно этого ответа.

— Дам к вечеру. Но вы же понимаете: громче всех говорят не всегда самые опасные. Иногда опаснее тот, кто слушает и ничего не отвечает.

— Это я знаю, — сказал Лыков.

Они вышли на крыльцо.

Снег всё так же висел в воздухе, не решаясь стать настоящей метелью. У ворот казармы две солдатки спорили с часовым: просили передать узелок и письмо. Часовой отнекивался по уставу, но без убеждения. Издалека тянуло хлебным духом — редким, дразнящим, почти издевательским.

Берсенева, шурясь на белёсый свет, сказал:

— Хотите мой личный взгляд?

— Для того и пришёл.

Поручик долго молчал, потом произнёс:

— Если в городе не наладят хлеб и если кто-нибудь из начальства попробует говорить с людьми по-старому, одними приказами, — всё тронется сразу. И тогда вопрос будет уже не в том, есть ли у нас войска.

Он перевёл взгляд на двор, на ворота, на далёкую очередь у булочной через улицу.

— Тогда вопрос будет только в одном: станут ли они стрелять.

Лыков кивнул.

Это было именно то, чего не было ни в одной официальной сводке.

И потому — именно то, что имело цену.

Когда он вернулся к извозчику, старик сразу спросил:

— Ну что там, на Выборгской? Всё тихо?

Лыков сел, укутал колени полостью.

— Очень тихо, — сказал он.

— Вот и слава Богу.

Лошадь тронулась.

Лыков смотрел, как мимо плывут серые дома, очереди, редкие вывески, закопчённые окна, люди с мешками, с детьми, с пустыми руками. Город ещё не кричал. Но молчал уже иначе, чем месяц назад. Не устало — напряжённо. Так молчит человек, который внутри себя повторил решающее слово, но ещё не произнёс его вслух.

Он подумал, что вечером Арсеньеву придётся сказать простую вещь:

вопрос о лояльности гарнизона не только существует — он уже живёт на улице, в очереди, в казарме, в каждой полшутке солдат и в каждом умолчании чиновника.

А значит, дело действительно вышло из рамок продовольствия.

Хлеб был только предлогом, только первой третиной, заметной даже слепому.

Настоящий излом проходил глубже — там, где государство уже не было уверено, что сможет приказать, а люди ещё не знали, что скоро перестанут повиноваться.

И, едва подумав это, Лыков вдруг ясно понял:

если в ближайшие недели кто-то попытается спрятать правду о гарнизоне так же, как сейчас прячут правду о хлебе, — весной Петроград увидит не беспорядки.

Он увидит историю...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.